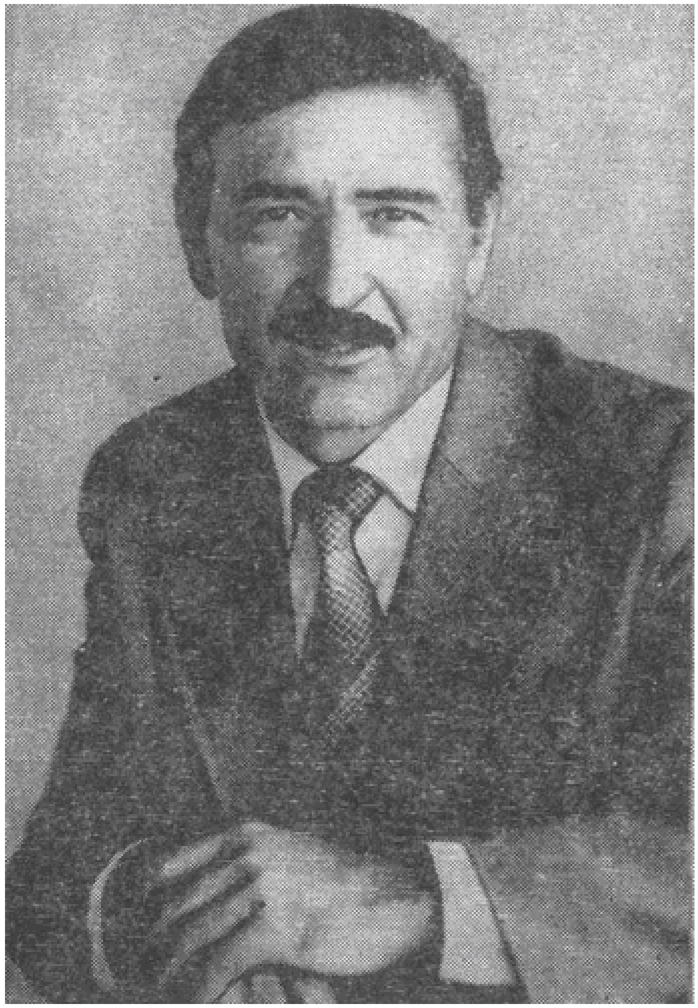

Бозор Собир
Листья огня

Издательство «Адиб»



**БОЗОР
СОБИР**

ЛИСТЬЯ ОГНЯ

Стихи

Перевод с таджикского

ДУШАНБЕ
АДИБ
1990

Собир Бозор.
Листья огня: Стихи: Пер. с тадж.— Душанбе:
Адиб, 1990.—96 с.

В сборнике лауреата республиканской премин им. Рудаки иредставлена гражданская и любовная лирика.

Бозор Собир

ЛИСТЬЯ ОГНЯ

Стихи

(Перевод с таджикского)

Перевод выполнен по изданию: Б. Собир. «Заздравная», «Адиб», 1987 г.

НОЧЬ УСТОДА

Передо мной
сплошным листом
нависли
облака...
И вот в глазах
темнеет предгрозово...

но до того, как молнией
меня пронзит
строка,
назад оттягиваю
кончик языка,
чтоб, лихорадкой на губах
набухнув,
проступило
это слово...

...усталый холм
нескошенной
пшеницы,
к Хирмандара [2]
спускается
луна...
и слезы,
выступая на ресницах,
текут,
как в чашах опрокинутых,
в глазницах —
там опочившая
мне снова
мать видна!..

[1] *Устод* — наставник, учитель, мастер.
[2] *Хирмандара* — наэвание ущелья.

она прошла туда
дождливым днём —
шатким мостом
зависшего
тобута[1]...
мне даже показалось,
будто
впервые в старости
прошла
вот так легко...

и долго нет её...

как пусто
стало дома!..
вернулась в Слово
мама
под дождём,
оставив ношей мне
как свой могильный
холм,
словарь
родного языка —
зеленые
два тома[2]...

и захотелось
вымолить,
позвать её —
ночное небо
помертвело...

[1] *Тобут* — мусульманские погребальные носилки.
[2] Имеется в виду двухтомный словарь «Фарҳанги забони тоҷикӣ».

и вспомнился вдруг
старый мой устод,
чьи волосы
у выцветшей доски
казались мне
даже белее
мела...

...теперь
ночное небо —
мой устод,
его луна
теперь —
мой горный хлеб...
и если мне
строкой
не вымолить её,
пусть ночь устода
превратится в склеп!..
и если мне
строкой
не вымолить её,
пускай проклятьем
станет
хлеб устода,
чтоб я в ночй
ослеп!..

КОНЬ

В уголках моей жизни,
где помню себя я
впервые,
а, вернее, в краю,
где отца потерял,
на скаку обесплотев,
как дух неприкаянный,
мчится
конь, что в детстве моем
навсегда ускакал.

Белогруд, белолоб,
белоног,
вот он вихрем
проносится рядом,
и разносится дробный,
на спаде
стук копыт его
с дальних дорог.

Вот — над речкой
зависший на миг
в полдень, жаждущий,
с пыльною гривой...
вот весенней охваченный
нивой,
глаз кося,
он без удержу мчит...

С детских лет
узнаю я коня,
лишь заржет он —
так полнится лаской

его голос,
что кличет меня
из когда-то услышанной
сказки...
Приникая

к гудящей земле,
слышу топот,
до боли знакомый,
будто детство
все там, вдалеке,
ждет с конем
у отцовского дома.

Будто детство
у дома ещё,

что так полон был
смехом и плачем,—

как смеялись
мы радостно в нем,

в нём и плакали
как-то иначе...

..Благословенно же будь,
ты, свободное,
светлое детство!
Благословен же будь,
отцовский,
наш старенький дом!
Сделайте так,
чтоб мужчина,
кого молодым мы лишились,
Возвратился однажды,
пусть даже
совсем стариком.

Или пусть хоть холмы,
где поросшие
травами тропы
помнят поступь
его удалого коня,

весть,   что жив,
что он есть,
донесут до меня
по рассветным приметам
из облачной дали!..

Сквозь судьбу
и сквозь память
из края,
что снится,
а, вернее, из края,
где отца потерял,

на скаку обесплотев,
как дух неприкаянный,
мчится,
конь, что в детстве моем
навсегда ускакал...

На дорогах своих
так нигде я тебя
и не встретил,
ветроногий,
и только из детства
кричу я тебе:
— Где ты скачешь теперь?
Где твой всадник?

Молодым потерял его
где?..

УБИВАЯ СЕБЯ, УБИВАЯ...

Мне кажется подчас,
что я и прежде
жил...
и сквозь беспамятность веков

я от юнца,
взрастившего надежды,
до старца,
чей светильник жизни
гас,
бессчетно
путь вершил земной...
лишь для того, чтоб вновь,
в гордыне сотворив
себе кумира,
рабом у мира
быть

иль чтобы вновь
быть на кругах его
владыкой
мира...

Хотя на вид
я — саженец,
но мной,
мной пережита
бесконечность
вёсен
и листопадов...
пережита боль
прививок —

на стволе моем
наросты —
следы их —
плотью скрытые
узлы...

Всмотритесь же
в меня,
чтоб разглядеть
вблизи,
каков я
подлинный!..

чтоб, как историю
Кушана,
вновь найти
меня
среди развалин
Хорасана...

О, горе, горе мне —
я уже прежде
жил!

но кем
я был?
иль чем
я был?

с павшими —
павшим,

с пленными —
в плену,

поскольку
сам себя
ограбил...

И облик мой
ссыпается еще

глазурью с башен
крепостей
Систана,
и мою горечь
сохраняют
камни
в безмолвных плачах
на мазаре
Рудаки
и на мазаре
всей династии
Самана...

Я Бамиан
воздвиг
и Бамиан
я сжег,

мной создан
Кафиан,
мной Кафиан
потерян,

мой путь
до трона Дария
пролег —
его разрушил
я
и я
рукой развеял

сокровища Каруна,
их приняв
за сор и прах,
что прибивает
ветер...

Я извергал огонь,
и я сгорал
в огне,
был угнетателем,
был угнетенным,

неверным был
и правоверным был,

даже шайтаном был
и Богом —
тоже!..
О, горе, горе мне!
Спасите же меня,
заслышав
хохот мой
совиный!
Я
вынудил Сино
покинуть Бухару!
Я
сбросил Термези
тогда в Аму!

Низам-аль-Мулька кровь
я пролил —
хоть безвинна!..
точнее —
государства пролил
кровь...

Порою я
Авесту открывал
как целый мир,

порой
брал том
Корана,

случалось —
на путях своих
я становипся
спутником
шайтана..

Да сколько ж я
голов разбил! —
О, сколько ж
выжег глаз!
что голова моя
окаменела...
точнее
жил,
себя остервенело
сам убивая
сотни тысяч
раз...

О, горе, горе мне!..

Господь,
грехи мне
отпусти...

* * *

Когда вздымает
файзабадский ветер
пыль по холмам
и первых капель
плети

секут мне веки,
опрокинув чаши
пустых глазниц,
дождь моросящий
в дымку
над Мазаром,
просачиваясь
в память,
каплет
в старом доме...
и по лицу
струясь,
стекает
слезами
с сомкнутых ресниц...

и кажется, что я
вблизи от Файзова

стою под выступом
саманной,
ветхой крыши...
что десять лет
исполнилось вчера —

и хонакох [1],
где трещины,
как ниши,

[1] *Хонакох* — небольшой домик на кладбище для свершения религиозных обрядов.

мне домом птиц
привиделся
с утра...
и за стеною,
там где тени
тают,
седая Назокат
опять читает
молитву,
от напастей
ограждая
тех коровёнок,
что на тропах где-то
я растерял
мальчишкою-подпаском,
и на коленях
к полу наклоняется
при этом,
как будто зерна,
закатившиеся в щели,
подслеповато
примечает...

...Я, сын крестьян,
неразделим
с холмами этими,
я к ним
привязан

седыми волосами
матери моей...

и до сих пор
для слуха моего

нет в мире
музыки нежней,
чем музыка
тех струй,
которые плелись,

когда мать
молоко
в ведро доила,
и ласковее слов,
чем те,
что говорила
она корове нашей,
сидя рядом с ней.

Я чувствовал,
идя за стадом,
родину
и днем, и ночью,
в зной и в холод
чувствовал...
забыв про истину
о ней
расхожую,
я постигал ее
своими чувствами —
вдыхая,
слыша, видя,
пробуя,
глазами, языком,
ушами, носом,
кожею.

И если
наступал
на муравейник,
то чувствовал укусы
муравья,
и если
я шептал
сквозь слезы,

что мясо горькое мое,
высасывая жало,
знал твердо я —
ужалила оса,

зубами
я выдергивал
занозы,
когда вязанку
сбрасывал с плеча.

Я просто
понял родину —
без доводов,
идя босым
за стадом
по ветру,

любой строкой своей я связан
с ней,
и если
я когда-нибудь собьюсь
с ее тропы,
лежащей
средь камней,

то, как бывало в детстве,
потеряюсь,
но не найду потом
назад
других путей...

И вновь, и вновь
встают
перед глазами

ее могилы,
где шесты
белеют лоскутами,
как указатели...
и снова

их горчайшими
путями
спешит перо...

И кроме
кулака отца —
бугристого тутовника того,
что на его
незнавшей праха
высится
могиле,
из кулаков
я не боюсь
ни одного.

СТАЛА МАМА ВЯЗОМ НА ХОЛМЕ

Стала мама вязом
на холме...
и еще прядёт
над миром спящим
паутинки,
что клубком сквозящим
оплели её
в осенней тьме...

Два фарсанга [1]
разделяют нас,
для меня же —
самых бесконечных,

где со смертью жизнь
переплелась
средь забот,
полей
и кладбищ вечных...

где пустынный,
мертвенней лица,
ток
под лунным пологом
белеет,
без вести пропавшего
отца,

над которым пыльный
ветер веет...

где на тихих,
призрачных холмах

[1] *Фарсанг* — расстояние, равное 7—8 километрам.

под созвездьями,
как под снопом пшеницы,
умерший от голода
мой брат
думает,
как хлебом бы
разжиться...

где на тихих,
призрачных холмах
без меня лежат
под небом
братья
рядом с нашей мамой
в старом платье
и зовут меня
из трав
впотьмах...

где понурой тенью
по дворам
я брожу
в неполные тринадцать —

на губах — простуда,
в струпьях
пальцы,
а на шее
мамин талисман...

...С мамою
соединяла нас
пуповина,
что была нам
корнем,

только нить её
оборвалась,
став узлом
на теле обнаженном...

В день,
когда от корня
и меня
отняли,
лишившись
мира мамы,
в мире горя
очутился я
с сжатыми
от боли
кулаками...

И пошел я
по её следам
по миру,
и слёзы
шли со мною...
и земля
под маминой стопой
детства моего
была землею.

Не забыть тех крох,
что мама нам
муравьем усталым
собирала,—
ту хлеб-соль,
что ел я
по дворам,

ту хлеб-соль,
что к людям
привязала.

И дареный
не забыть
мешок,
что, как простоту свою,
зубами
надорвав,
раскраивала мама
на наряд мне
с головы
до ног.

И хоть ткань
тех нищенских
обнов
с тела,
как пеленки детства,
спала —
на сердце растерзанном
осталась
вечной латкой
мамина любовь.

Стала мама вязом
на холме...
и слагает
из ветров
сказанья...
гляну на луну —
в воспоминаньях —
молоко
и сыр
на выпасах во тьме...

Усадила сына мама
в доме глаз своих,
но в мой дом
она всё не заходит,
ибо взор
молитвенный у них,
и киблы [1]
в сыновьем доме
не находит!..
Стала мама вязом
на холме...
поднялась с детьми
на высоту...

как запомнилась сельчанам —
вся в тряпье,
так, и древом став, —
в лоскутьях
на ветру.

[1] *Кибла* — сторона, в которую обращают свое лицо мусуль мане при молитве.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Всё то, чем он
пленял миры,
воздвигнув мир свой,—
отдал.
От Балха и до Бухары
владел простором —
отдал.
Стихов диваны
создал он,
традиции —
и отдал.
Самана
солнценосный трон
отлил из злата —
отдал.

Он в нищую
ладонь врага
вложил
«Донйш» Синб —
и враг в кочевьях
обирал
диваны Мавлоно,

и вражий мародер-торгаш
Бехзода фрески
крал...

Безродный враг
дома его
и земли
заселял.

И булаву,
что дал Рустам,
он выпустил из рук,
усилил варваров
и их величье
воспевал,
он, как могилу
Рудаки,
имя своё
забыл,
он тем бессмертие дарил,
кто истреблял
его...

...На минарете
из голов,
что холил
Хорасан,
высоким
низкий стал
мангыт,
а все кипчакские
низины,

подняв
на снежные вершины,

возвысил
гордый Бадахшан.

Народ мечты,

народ таджиков
с печатью скорби пленных
на устах,

сквозь слезы
сироты,
застывшие
в очах,
взирал
как всё —
от савана
до Родины —
что он, создав,
в веках лелеял,

неудержимо
обращалось
в прах...
став дервишем,
взирал
сквозь черный,
едкий дым,
как отданное им
в чужих руках

кусками раздиралось
тело Родины

на кровостонных
варварских пирах...

взирал,
как враг,
глумясь над ним,
владыкою
державой правил,

воссев
в его покинутых дворцах...

Средь суженных от злобы
глаз

одни лишь муки
принял он —
о, сколько ж раз
в огне,
со всех сторон,
сжигали
плоть его
в согдийских башнях!..
о, сколько ж раз
в воде,
где глохнул стон
топили
плоть его!..
о, сколько ж раз
крушили плоть
безвинную его

со стенами
Афрасиаба...

Но говор матери
вновь с молоком

по языкам,
губам младенцев
растекался,
и, костенея,
каждым позвонком

в них оставался,
оставался!..

И где-то, в скрытых
уголках
родной земли
земли
разлук,
земли-чужбины —
наедине с собой

живые
оплакивали всё,
что не уберегли —
их плачи
в водопадах
голосили,
им вторя,
ветры речь их
разносили,
с тоскою их
дожди в ночи
шептали —
и напевали
реки
строки Рудаки,
а травы
вслух им
Анвари
читали.

Так в дни бездомности
народ
обжил
как Дом
Язык,

и основал в нем
государство

без государственности,
государство Слова
Поэзии,
где каждый стих,
чтоб почву напоить,

словно арык
кровью воителей его
струится,

где каждый стих,
как огненная нить
из пламени
костров
зороастрийцев.

И всякий раз,
вновь истекая
кровью,
он, как подранок,
ото всех тайком

залечивал
бесчисленные раны,

зализывая
Языком.

И хоть в своем дому
бок о бок
с гебром
и мусульманином
он ото всех несчастий

молил
пророков их
и их богов,
он чужаком,
как прежде,
оставался
с до них недоходящим
Языком.

Его великие
с минбаров
исчезали,
чтоб не исчезнуть им
из Языка,

поэты
в петлях виселиц
взлетали,
чтоб Слово
с высоты
сияло
сквозь века.

...И хоть вопрос границ
таджиков —
без итога —
там, где кончается
Язык —
граница их!
покуда
есть родной язык,
их много,
покуда
есть родной язык,
есть родина
у них.

* * *

Памяти профессора Тимура Собирова

Чтоб хоть в памяти о нем
путь к нему
мне обрести,
Прошлой ночью
я блуждал,
обходя ее пути.
С пеленою на глазах,
как в бреду
за миражом,
По следам его
я брёл
в памяти о нем.

Его запах
на ветру
я пытался уловить —

Только ветер
не принес
путеводную
мне нить.
Молвил я ему:
— Скажи,
что о брате
знаешь ты?
Кинул ветер
мне в лицо
горсть земли
из темноты.

В сад зашел я
расспросить
у деревьев про него,

Чтоб у каждого
куста
вымолить его —
Но не слышал
сад меня,
только стряхивал
листы.
Точно золотой наряд
рвал
на лоскуты

И сквозь клетку из ветвей
ив плакучих
я глядел,
Что не думал о себе
раньше,—
пожалел.

И сквозь клетку из ветвей
глядя в небо,
стал жалеть,
Стал жалеть,
что не пришлось
раньше брата
умереть -
Чтобы в горе,
став свечой,
мне не таять
по нему,

Чтоб не охладеть душой
в этой жизни
ко всему,

Чтоб не множить
сердца раны,
вновь во всём
себя виня,
Чтобы так не убивало
горе
медленно
меня.

В небо я глядел —
и там,
в помертвевшей вышине,

Стопка взбухшая тетрадей
облаком
плыла ко мне,

А за ней
из облаков
мне постель
была видна —
Брата ложе
и на нем —
вдрызг разбитая
луна...

И потом,
все разрастаясь
леденящим миражом,

Плыло кладбище,
и плиты —
черно-белые на нем,

Плыло кладбище,
все небо
обхватив со всех сторон,

Плыл
среди холмов колючих
отчий Суфиён!
И кричал я облакам,
слыша голос,
как сквозь сон:

— Душу в пепел превратив,
знаете ль,
где он?
На земле коль не сыскать,
может,—
в мгле небес!?
Кто же там,
за пеленою
облачных завес!?
И не слышал я —
молчали,
отвечали ль
мне тогда,
Только горлом водостока
кровью
хлынула вода,
И ручьи переполнялись
кровью
белого дождя,

И, как вены,
оставляла
кровь их,
в землю уходя..

В небо я глядел...
очнулся —
вижу — первый проблеск дня,

Мелкий дождик
моросит —
он и пробудил меня,
И приблизилась гора,
скорби ночь
откинув вдаль,
Точно с бледного лица
черную вуаль.

И оттаяла душа...
но заря,
зардев украдкой,

На губах у горизонта
проступала
лихорадкой.
Простонал я:
— Не заря... это...
а земля чуть свет...
Из сердец,
омытых кровью,
делает
букет...

МУРАВЕЙНИК

Заполнил сердце
я слоями
из тех крупиц,
что сам извлёк,
точно отрезами
на саван
себе старуха —
сундучок...

И оказалось,
где-то правы
те, кто златрыбок
на крючок
ловили в мутных
речках славы,
пока я
строк искал исток...

Что ж,
жизнь — наука из наук,

и сто хитросплетений
в ней,
то есть,
из света
и теней
жизнь состоит,
как светотень.

Бывает —
всякому легко

дверь в сердце
распахнуть моё,

бывает —
хоть ломись в неё —
не открывается,
и всё!

Но сам я —
кнопка у звонка
с фасада
узеньких дверей:
чем давят
на меня
сильней,
тем звон
доносится
звучней!

И стих мой прост
не оттого,
что простоты мне
не избыть —
я создал школу,
где себя
учил
так просто
говорить.

И не пекусь я
лишь о том,
как прокормить себя
стихом,
иль через Время
как мостом
мне перекинуть
ручку в шторм.

А кончик
моего пера
в тетради
муравьем ползет;
то тащит, не спеша,
зерно,
то он соломинку
несет.

Примись любой слепой
мести —
мне моё сердце
не спасти:
став муравейником,
оно
лежит сегодня
на пути...

Заполнил сердце
я слоями
из тех крупиц,
что сам извлёк,
точно отрезами
на саван
себе старуха —
сундучок...

...Сжав кулаки,
соль слез глотая,
я в мир пришел,
чтоб в мире жить,
и пусть уйду я,
их сжимая,—
но строчек
не похоронить!

СЫН КРЕСТЬЯНСКИЙ

Пахнут думы о селе родным селом,
Так мерещится мне, сыну кишлака.
Вспомню пахоту и жатву, напролом
Думы двинутся, как в мае облака.

Нет мозолей на руках моих, и все ж
Не скажу, что так легко мне ремесло...
Эти трещины отцовских рук найдешь
В сердце сына,
не забывшего село.

Нет царапин от колючек и камней,
Не осталось на ступнях следов земли,
Но грохочет камнепад в груди моей,
И колючки эти в сердце зацвели.

Боль, бывало, доводившая до слез,
Как бальзам теперь врачует жизнь мою...
В дальний город я в душе ее принес,
И от боли этой сладкой я пою.

И не кладбище — земля стихов моих,
Продолженье гор и нив моей страны.
Вечной речью материнской жив мой стих,
Оживил его язык зарниц весны.

Здесь родник расколдовал уста мои,
Душу — гулких водопадов плач и стон,
И не строки, а бурливые струи
С шумом катит по страницам Зеравшон.

Коль останется потомству хоть строка,
Не считайте вы её — моей строкой,
Это пашни борозду издалека
Перенес я прямо в гомон городской.

Шепот листьев, разнотравья голоса
Перешли в свободный стих, и каждый слог
В луговинах, где рассыпалась роса,
Разыскать свободный ветер мне помог.

ДЕТСКИЕ СЛЕЗЫ

— Отец, когда ты был таким, как я,
ты плакал?
— Что могу тебе ответить...

Счастливое лукавое дитя —
и мы, из детства вырванные дети
протяжным ветром роковых времен,
угрюмым вихрем раннего сиротства...

Да, я был также мал, того же роста,
но детских слез твоих я был лишен.
Не плакал так отчаянно взахлеб,
и плач мой сразу плачем не сменялся.
Беззвучною слезою окроплялся
ломоть сырой, пайковый горький хлеб.

Нас обожгла холодная купель
войны. Мы безотцовщиною стали.
Жестокою и жесткой колыбель
была моя...
И слезы застывали,
сворачивались зернами беды
в пыли отчизны.
Видишь, их следы
так бороздой на складах и остались.

В глубины сердца навсегда впитались
две тихие последние слезы:
старинная дорога Файзабада,
в огне вечерних зорь струится прах...
И слезы — капли алого заката,
и похоронка на отца в руках.

ГОРЫ

Громя гранит и взламывая недра,
Породу каменистую дробя,
Находит кто-то лалы и рубины...
Но, сколько ни оглядываю горы,
В них нахожу лишь самого себя.

Я глух без громкой песни родниковой,
Я слеп вдали от пестрых горных весен,
Я запою — подхватят песню хоры,
Многоголосье повторит припев.

Мне подпевают звонкие потоки,
И грудь мою переполняет это,
И тысячи
Грохочут водопадов
Во мне и в скалах,
В сердце и в горах.

Довольно одного припоминанья,
Чтоб зазвучали горные напевы,
Чтобы в груди взошли цветы и травы,
Чтоб хлынули из сердца родники.

Единой мысли о горах довольно,
Чтоб Зеравшон бок о бок с Бадахшаном
Во мне запели и заговорили,
Чтобы пропали робость и сутулость,
Осанка горца распрямила грудь.

Да, в недрах горных многие находят
Источники
И знатные каменья,
А я, потомок гор высоких,
В любом осколке нахожу
Отчизну
И в каждом камне Родину ищу...

Я запою — подхватят песню хоры,
Я засмеюсь — вершины рассмеются,
Заплачу — мне откликнутся хребты.

Из склонов гор, в объятьях гор весенних
Хочу я
Не единожды родиться,
А сотни раз.
И снова — сотни раз...
Быть в Бадахшане и на Заравшоне
Ребенком, чтобы в гулком горном хоре
Подать свой голос много сотен раз.

ТОЧКА ОПОРЫ

Дробится ржавчина пород,
И молот сжат в руках,
Струится благодатный пот
И увлажняет прах.

Кто мог бы смять гранитный склон
И гору побороть?..
И созиданью отдал он
И кровь свою, и плоть.

Смотрю на руки кузнецов —
Творцов своей судьбы —
И вижу храмов и дворцов
Опорные столбы.

Столпы могучих этих рук —
Опора всей земли —
Подручных охватили круг
И небо вознесли.

И плечи взглядом ты окинь,
Что — мрамор и чугун!
В небесную восходят синь...
Ты видишь —
Лестницы твердынь
И лестницы трибун?

...Он встал над миром в полный рост,
И лестница легка,
Она от плеч его до звезд,
Летит сквозь облака.

Он сделал бытом волшебство
И скалы разгромил,
Как бы из праха своего,
Он созидает мир.

Хоть ростом он не до небес,
Но все ж, в поту, в пыли,
Он взял на плечи полный вес,
Весь груз родной Земли.

ДОРОГИ

Дороги, сплетения дальних дорог,
Еще ни на чьем обреченном челе
Своих указаний не вычертил рок,
Ясней, чем на этом челе, на земле.

Тебя увлекут к неминучей судьбе,
Подъему и спуску обучат стези,
И каждый твой шаг — наставленье тебе,
Как будто газель Саади Ширази.

Я видел прохожих следы, находил
Следы ненароком потерянных строк,
Хранивших в пыли вдохновения пыл...
Но жребий певцов на изгнанье обрек.

Дороги страданью обучат сполна,
Кружа по холмам и равнинам земли,
И боль расставанья по щебню видна,
И встречи восторг отпечатан в пыли.

До цели желаний сумеешь дойти,
Коль счастье поможет и выведет путь...
А то ведь так много пропавших в пути,
Тот сгинул в скитаньях, того не вернуть.

А там проползаешь, цепляясь едва,
Готова и юных покинуть душа.
О, если бы под ноги — хоть бечева,
Но пропасть зияет,
стоишь не дыша.

Тропинка — как будто ножа острие
И даже острей, чем отточенный нож,
Но поздно, уже не минуешь ее,
И молча по самому гребню идешь.

Там — заросли, здесь — неизвестности дым,
И быстрых тропинок свивается сеть.
Легко ли пройти, не согнувшись, по ним,
Без яростной зоркости путь одолеть?!

Дороги, сплетения дальних дорог,
Ясней ни на чьем обреченном челе
Своих указаний не вычертил рок,
Чем здесь, вот на этом челе, на земле.

ОСЕНЬ

Тучи над вершинами гор
то сомкнутся,
то разомкнутся,
словно думы седых стариков.

Птицы сбиваются в стаи,
покидая гнездовья свои.

Листья облетают с дерев
на траву,
пожелтевшую от прохлады.

Водопад с каждым днем
все тише и тише шумит.

Воздух пахнет зимой
и землей отсыревшей.
Садовники расстаются с садами,
и крестьянин,
заглянувший на ток,
собирает последние зерна.

Целой грозди иль целого колоса
не увидишь нигде.

Песен дехканских
нигде не услышишь.
Голубиная стая,
как снежное облако,
садится на ток —
вдруг найдется хоть горстка зерна.

А чабанский костер
уж давно не мерцает на пастбище,
потому что чабан
как-то утром на плечи взвалил
узелок своих скромных пожитков
и отару увел за собой.

Все открыто дождям и снегам —
и поля, и долины.
Редко-редко увидишь людей.

Время новых забот настает:
надо жизнь и тепло
сберегать от метелей и стужи.

Год проходит
в счет жизни идущей...
И утром однажды
снег бесшумно покроет
вес знакомые троны...

АВТОПОРТРЕТ

Еще утренний сон не ушел из глаз,
Перед зеркалом сел я,
И взгляд мой угас...
Колыхалось
Серебряное озерцо,
Словно вымыл я в нем лицо.

Я гляжу...
Что ж увидел я в зеркале том?
Там ладонь
Шевельнулась
Увядшим листом.
Кто-то жалкий в упор из темницы глядит...
Гладким зеркалом выход закрыт.

Что за порчу еще навело колдовство?!
Меж бровями —
Клеймо от клешни!
Это — лапа судьбы...
У отца моего
Так изрезаны были ступни.

И морщин — как трещины черной земли,
Словно лик
Паутиной повит.
И в глазницах,
Где черные очи цвели,
Молча старая птица сидит.

Снег нагорный от этого веял чела,
Снег искрился
На склоне виска...
Над ручьем его губ не усы —
Лишь осока
У арыка.

И нагнулся я к зеркалу,
И говорю:
«Лишь мираж — в этой двери!..
Что там?!
На цветенье лица твоего,
На зарю
Не успел насмотреться ты сам!»

В ядовитой усмешке
Скривились черты,
Губы, как повилика,
Тонки и желты...
Он с улыбкой сквозь слезы взглянул
И в зеркальной воде потонул.

* * *

Ночь, как сумрак распущенных кос,
С небосвода стекала вниз,
Словно дождь материнских волос
Над моей колыбелью повис.

Выплывала из туч луна,
Разорвавшая облака,
Как тугая грудь, что полна
Материнского молока.
И в ущелье, как человек,
Филин кашлял, и на лугу
То ли ночь, то ли целый век
Стрекотала цикада в стогу.

Вновь проснулась печаль моя
Над холмистой землей могил,
Долго, долго с ушедшими я,
Долго мысленно говорил.

С кем-то жребий оплакивал свой —
Ты в объятьях земли,
                                        ты во сне...
Я несу, словно скарб кочевой,
Все пригорки земли на спине.

И с былинкой засохшей мы
Горевали о ком-то вдвоем...
Слезы ночь лила и холмы
Осыпала зведным огнем.

Ветер козьими тропами влек,
Погонял ветерков стада,
И тоску, словно сена клок,
Уносила их череда.

Я спускался, печалью влеком,
По холмам дорогих могил,
И кормила холмы молоком
Неба грудь там, где я проходил.

ВЫКУП ЗА МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО

Если поэт
в своей тоске
сам
превратится в волос,

пытаясь рьяно
просверлить
литую нить
его,

то что ж тогда
мне говорить,

когда
и волосы твои —

свидетели того,
что я вишу
на волоске,
на виселице
стана,

что как поэт волос твоих
болтаюсь

в петле,
сплетенной
из него!

А тело млечное твоё —
жемчужный кокон,
в нём
сплелись
сто климатов
и столько же
сезонов,

и в каждом
уголке его
царит
иной сезон,
и в каждой из сторон его
свой
у погоды норов —
сезоном Колоса
объят
бровей твоих излом,
сезоном Рыбы —
плоть твоя
до кончиков
волокон!

И в стороне одной —
тюльпан
раскрытых губ,
а в стороне другой —
щек
белоснежный хлопок,
как ночь полярная,
затылок
тёмен твой,
лицо твое,
как ток,
где месяц золотой

чуть приоткрыл
в ночи
свой двухнедельный
полог.

И в локонах твоих —
сезон Ветров
Весны,

в глазах твоих
сезон Дождей
извечен,

ресницы,
сны храня,
пригнулись
под сурьмой,
и каждый полукруг
их тени голубой
как грифелем
очерчен!

И в этом городе,
кроме тебя,

нет ни одной другой,
такой же
млекотелой!
и в этом городе,
кроме тебя —
одни лишь
продавщицы молока!..

так сохрани себя —
я заклинаю! —
от всех молочниц
оголтелых,
водой
что нежность млека
разбавляют,

торгуя лихо им
с базарного лотка!

Круг уха твоего,
что голос мой
замкнул,

для глаз
нулю подобен золотому,
в сравненьи с ним
все остальное —
нуль,

и все круги пусты —
один
к другому!

И хоть известно,
что во все века
пусты ладони
у поэтов,
клянусь любовью,
в их строках
воспетой, —
будет щедра
моя рука:

выкуп отцу
за хлеб его —
обложка
тонкой книжки этой.
а матери —
за молоко —
в ней строки
белого стиха!

Я ЭТОТ МИР ПОЦЕЛОВАЛ

Словно погладил вечер я,
Откинув прядь твою
со лба.
Казалось губы —
лепестки,
И я невольно к ним припал,
Я лепестки поцеловал.

Но тут увидел я глаза,
И жар уста мне иссушал —
Глаза привиделись рекой,
И я к реке твоей припал,
И реку я поцеловал.

А лунный свет по волосам,
Разлившись, золотом стекал —
Теперь их очередь была,
Я к золоту волос припал,
Я золото поцеловал.

На всей — от головы до пят
Я ничего не пропускал!
А не осталось места — я
К земле у ног твоих припал,
Я этот мир поцеловал.

* * *

Рахиму Хашиму

С помоловов жизни
слой пыльцы
Лёг, его череп
чуть прикрыв.
В сердце его —
шипов концы,
Что жизнь вонзила,
обломив.

Морщины шею
исхлестали,
И вжатым в сеть их
лик отлит.
В рубцах морщин
он, как из стали
В невзгодах выкованный
щит.

И несвободный,
неплененный,
По-стариковски
он бредет,
И встречный
по главе склонённой
В нем самаркандца
узнает.

Всего лишив,
лепила спину
Холмом судьба ему —
и вот

Он прах Пайрава [1]
на чужбину,
Как кочевой свой скарб
несет.
Хоть он не создал,
вдохновлённый,
Поэм,
устода строже нет,
Среди ученых
он ученый,
Среди поэтов
он поэт.
И из его
воспоминаний
Пекут
склеротики давно
Талмуды
собственных писаний,
Забыв сослаться
на пего.
О нём
тотчас же вспоминают,
Коль нужно
текст растолковать,
Его судьбе
предоставляют,
Коль время
лавры пожинать.
Но он о лаврах
не мечтает
И не клянет
судьбу в сердцах.
Его из рук
не выпускают,
Хоть и не носят
на руках!

[1] *Пайрав Сулеймани* — таджикский писатель, в перезахоронении праха которого участвовал Рахим Хашим.

И пусть под гимны
не вписали
Имя его
в заветный том
Истории —
Как на скрижали,
Оно, светясь,
пребудет в нем —

Но не в конце
и не в начале,
А средь страниц его —
цветком!

ТЫ ЩЕДРАЯ

Из баловства ты —
вся как есть,
что разжигает
аппетит,
а рук и ног
так сдобен вид,
что прямо хочется
их съесть!
Вся плоть твоя —
для губ
магнит —
ведь вкусных мест на ней
не счесть!

Когда придет
блаженный миг,
в пылу объятий
я ползу
к душе твоей,
и на пути
из губ вкушаю я
язык,
чтобы добраться
до костей!

Того,
кого обхватишь ты,
в огонь и воду
превратишь,
ты, точно золото,
ни в чём
не растворяешься,
но ты
собой
любого растворишь!

И ты в любви своей
щедра
и необузданна,
как страсть,
и не убавить,
не отнять,
чего ни вкусишь
от тебя,
твой запах,
сколько ни вдыхай,
все также будет
опьянять!

Твой запах
так стоит в ноздрях,
что, если вдруг
всосет земля —
на эту землю
плюну я!
И раз уж я
попал сюда,
в твою постель,
то, не жалея,
пусть плоть твоя
всосет меня
до самой
шеи!

* * *

Дождик, лей, дождик, лей,
Как, бывало, ты поливал,
Словно зелень, две головы — и мою,
и любимой моей!

С каждой каплей все ближе плечо,
Мокнут волосы, и горячо
Хлещет дождь по рукам и ногам...
И в объятьях моих — она,
И трава, и листва, и весна.

Далеко ли, недалеко
Материнское молоко...
Разом небо от детского сна
Разбудило юными нас,
Диво дивное сотворив.

Но ушел я вослед за судьбой,
Этот зов не услышан тобой.
Песнь любви моей, жалость мою
Я в слезах сокровенных пою.

Сколько весен с тех пор прошло,
После той — невозвратной до слез,
Сколько ветер цветов принес и унес.
Этих губ лепестки не принес...

Дождик, лей, дождик, лей,
Как, бывало,
ты поливал,
Горячо поливал твой поток
Эти плечи любимой в объятьях моих,
Этот неповторимый цветок!

Дождь, когда ты вонзаешь, звеня,
В грудь земли свои ногти, меня
Так же что-то терзает — впились
В грудь
Обиды ее и мои,
Льются памяти горькой струи.

С ней я радость и горе узнал
Прежде коловращенья судьбы,
До того, как я море узнал
Жизни, страсти, волненья, борьбы.

До того, как сердцу в тоске
Камнем стать, онеметь,
До того, как седин на виске
Ляжет сеть...

Дождик, лей, дождик, лей,
Благодать облаков надо мной.
Где-то я потерял цветок,
Может быть, прорастет он весной.

ПОД ВОДОПАДОМ

Клокоча, обдавала волна,
Поднимала воды перекат,
Как парча, покрывала волна
Всю ее от волос и до пят.

Кольца длинных волос текли,
И вращались, и шли вразброс.
С прядью прядь свивала вода,
С прядью прядь сплетала вода,
В пальцах влаги — струи волос.

Свет глаза ослепил мои,
Но и глаз отвести нельзя,
Грудь ее облегали струи,
Как по глади зеркал скользя.

От ее золотых волос
Жидким золотом шла вода,
Пробежав сквозь ресницы ее,
Сквозь живые зарницы ее,
Сразу стала светла вода.

И на камни присела она,
И повеяло вдруг весной.
От ручья к ручью,
От холма к холму
Плыл ее аромат сквозной.

Капля каждая, с веяньем этим журча,
От холма до холма,
От ключа до ключа,
К водам рек и в морской прибой
Цвет очей несла голубой.

ЛУННЫЙ СВЕТ

И заливает молоком луна
Ночь душную и грустную.
Я вышел,
Как тот, кто был отравлен терпким ядом,
И выкупался в молоке целебном.

И я припомнил давнюю любовь,
Схватился за сердце.
Душа моя
Заполыхала горечью печали,
Припомнилась мне вдруг судьба Сухроба [1],
И сердце камнем сжалось,
Потекло
Больное сердце, словно снег сугроба...

Любовь моя!..
Я слышу горький плач,
Как будто бы текут потоки слез
И стонут, из реки впадая в реку.

Во мне и в небе сумрачном, земном
Все тучи мира проливают слезы...
Мои глаза на миг закрылись сами,
И словно потерялся я в себе.
Из юности донесся дальний голос
Моей печали.
Словно плач реки —
Мольбы моей любимой...

Вот вспомнил я ее — глаза влажнеют,
И старая любовь — как мой ребенок,
Как сын, что рано умер.
Я убил
Родного сына,
Как Рустам безумный...

[1] *Сухроб* — сын богатыря Рустама, убитый отцом по ошибке.

И в юности свою любовь оставил
Я, как Рустам в злосчастном Самангане,
Любимейшую из любимых...
Раня
Свое же сердце,
Тахмину одну
Рыдающую бросил, Тахмину!

Забыв о ней,
Моя душа пустует,
Ни радости не знает, ни печали.
А вспомню — волны памяти умчали
Меня во все концы большой земли.

И я пишу, я все о ней пишу,
О той любви несбывшейся...
Доныне
Я без нее.. Но на руках ношу
Ее ночами...
Свет ее святыни
Из книги в книгу я переношу.

Из книги в книгу, из стиха в стихи —
И слезы лью...

ПЛЯСКА

Со мной моя любимая танцует,
На травяном ковре со мной танцует.
Все наяву...
                    И волосы взлетают,
И оплетают бедра повиликой.
Удивлено самим собой, в восторге,
Не счастье ли мое пустилось в пляс?

Она хохочет от души и пляшет.
В руках застольцев закружились чаши,
И закружились головы старейшин,
Памир кружится,
Зеравшон кружится,
И Самарканд и Бухара кружатся,
Все пляшет, как на рынке мировом.

И в ритме пляски счастье встрепенулось,
И в ритме пляски милая трепещет,
Взгляни на косы — их волнистый трепет,

Как сорок водопадов Зеравшона,
Обрушился на бурный мрамор плеч.
И в этом ритме, в трепете волнистом
Ее волос,
                взвивающихся в пляске,—
Разрыв и узы, рабство и свобода,
Мотив цветенья, юности, восхода,
И старости суровый приговор,
И высших сил слепое колебанье,
И колыханье бадахшанских гор.
Она руками машет, травы топчет,
И вся — вращенье с головы до пят,
Прищелкивает пальцами,
И пляшет...
И в сердце радость смешана с печалью,
Во мне — все человечество, весь мир.

То вдруг она приблизится настолько,
Что кажется: подол заденет сердце,
То вдруг отпрянет облаком весенним
И убежит в объятья горизонта...
От сердца — к золотому горизонту...
Упало сердце, низок горизонт!

Со мной моя любимая танцует,
На травяном ковре со мной танцует.
Взгляни на косы — каждый волос пляшет...
То, может быть, пустилась в пляс комета?
И слышно, как вращается Земля.

ТАДЖИКИСТАН

Таджикистан, Таджикистан,
Когда
Я уезжал в чужие города,
Так до сих пор мне чудится и снится:
Отряхивал я ноги на границе,
Через нее не заносил следа,
Чтобы пылинка вчуже не пропала,
Чтобы земли твоей и так уж малой
Не стало меньше...

Если мне вода
В песках встречалась,
Ею воскрешенный,
Я каплю влаги сохранял в глазу,
Чтоб ей пополнить волны Зеравшона
Иль в кипень Вахша уронить слезу.

И если я блуждал в степном краю,
Где пыль тысячелетняя клубится,
Я уносил
Пылинку на ресницах,
Чтоб в землю опустить ее твою.

И камень, в поле найденный, долинный,
По темени я гладил, словно сына,
И все, что оставалось позади,
Припоминал,
И думал я в печали:
«Его от Бадахшана оторвали,
Насильно, как младенца от груди!»

Чужбина злую нагоняла грусть,
И где бы я ни странствовал, как слоги.
Заучивал тропинки,
Все дороги
Затверживал, как строфы, наизусть.
Мой путь — и слаще нет стихотворенья —

Он был всегда дорогой возвращенья.—
Дорога, что от Родины вела,
Моей дорогой к Родине была.

И я все тот же — твой крестьянский сын,
Где б ни был я,
Грущу
о камнепаде,
И о твоих колючках, и прохладе,
Струящейся от снеговых вершин!

Когда мне одиноко, прихожу
К твоим горам...
И лоб я приложу
К твоим камням,
Поникнув головою.
И посижу, и подышу травою...

Мне одиноко — я приду опять,
Чтоб вместе с водопадами рыдать,
Лить слезы в сонме струй плакучей ивы
И всласть поговорить с рекой счастливой.
Таджикистан,
Когда б сейчас твои
Горячими слезами стали реки,
Пусть вечно льются,
опаляя веки,
Не иссякают слез моих струи!

И если тихий вздох твоих степей
Вдруг стал бы ветром,
Из груди моей
Пусть рвутся вздохи горькие — вовеки!

Таджикистан, Таджикистан,
Тебя
Благодарю!
Я слеп и глух к обидам,
Великого и малого не выдам
И не отвергну, родину любя.

Сокровищ не ищу... Довольно мне
Того, что ты — Отчизна. И не больно,
С твоей травой колючей наравне
Расти и жить.
Мне этого довольно!

У ПАМЯТНИКА АЙНИ

Здесь перед ним — народ, и он —
перед народом, как всегда,
В гранитном изваянье вновь проснулась
горная гряда.

И он оглядывает нас, пока мы смотрим на него...
Народ пророка в нем обрел,
нашел трибуна своего.

И в честь словесности самой поставлен
памятник Айни,
Ведь совесть в камне ожила,
жив камень совестью, взгляни!

Увидит видевший его — Фирдоуси в загробной
мгле
И возвращенье, торжество Рустама [1],
что еще в седле.

Власть обездоленных пришла, в нем воплотилась
эта власть
И все, что брезжило в мечтах и не могло
в веках пропасть.

Здесь в камне честь воплощена, в граните
светится живом,
Взял на ладонь его народ с достоинством и
торжеством.

С его творений, с первых книг и начинается
страна,
И светлым подвигом Айни возвышена была она.

[1] *Рустам* — легендарный древнеиранский богатырь, воспетый в «Шахнаме» Фирдоуси.

Не зря он отдал жизнь свою народной книге
с юных дней,
И летопись его жива, народа родословье в ней.

Пусть многоводною была река словес и до Айни,
Но не было тропы к реке в те незапамятные дни.

И в те минувшие века шумели Вахш и Зеравшон,
Но люди были без воды, был отчий край
не орошен.

И слезы вызовут из глаз жестокой правды боль
и стыд,
Но кто же больше Рудаки в родном Панджруде
был забыт?!

В Европе кто-то изучал дни и деянья той поры,
Саманов [1] золото меж тем искали воры Бухары.

Был от рождения Айни поэта голос одинок,
Айни впервые обратил к народу пенье красных
строк.

Остался от иных певцов преданья рукописный
свод,
Айни нам книги завещал, оставил родину, народ.

Как зерна, подобрал с земли таджиков племя
исполин.
Как повесть ветхую, извлек свою отчизну
из руин.

[1] *Саманы* (Саманиды)—древнеперсидская династия.

И если не Таджикистан, то каждый на земле
таджик —
Его наследье... И поэт народной памятью
велик.

Стихотворенья Рудаки бесценны, духом высоки,
Но вечная хвала Айни, ведь им воссоздан
Рудаки!

И в скорбный мир болезней вновь целителем
вошел Сино
Чье имя мудростью Айни на родине воскрешено.

Своих певцов творит народ и отверзает им уста,
Уста народа он отверз, и разорвалась немота.

В народах, чтобы в мир войти, рождались
гении времен,
Здесь гением Айни народ для жизни мировой
рожден.

И под ногами у Айни — родимых гор
крутой гранит,
На этой каменной земле он вровень
с временем стоит.

Таджиков староста стоит в наряде стариков
дехкан,
Но в нем опору обретал весь юный наш
Таджикистан.

Он жив, покуда жизнь живет, над бурею времен
он встал,
Чьих жерновов круговорот его не сломит
пьедестал.

И если не заметит век, что был перед Айни
в долгу,
Споткнется, словно человек, об этот камень
на бегу.

БУХАРА

К тебе мой взгляд горячий устремлен.
И день, и ночь течет, как Зеравшон,
К тебе — с нагорий...
С горьким сожаленьем
Я вижу:
Как пустеющие ниши —
Столь многие места твоих великих.
И занято лишь место Авиценны.

Была когда-то Бухара
Вулканом на вулкане,
В гулкий миг потрясшего всю землю изверженья.
Рассеялись, как брызнувшие искры,
Великие твои по белу свету —
Во все концы,
Во все его углы...

Одни с мечом и луком уходили
Вослед за Александром,
А другие от Чингисхана или Тамерлана
С твоей водой, с твоей слезой в очах,
С твоей землей в горсти
Текли в Иран и головы в Египет уносили.

Одни совсем пропали на чужбине —
Песчинками в барханах,
А другие по вольной воле родины безвольной
Смешались с кочевыми племенами,
И тело — здесь,
                    а голова — поодаль,
И тулово, как материк,
                              большое,
Мечом от головы отделено.

Рассеялось твоих великих семя,
Исчезло, расточась по странам света,
Как золото и серебро твое.
Как серебро и золото, утратив былую цену.
Или Млечный Путь — твои стези...
И на ногах скитальцев
Дорог повисли спутанные нити,
Оборваны, унесены...
И ливнем размыты, как тропинки муравьев,
И ветром сметены.

Не знают люди судьбы твоих изгнанников,
Но кто же полнее, чем бухарцы, смог изведать
Всю горечь дум о родине, всю сладость...
Твои бродяги, воины твои на кладбищах
безвестных опочили,
Но их печали здесь погребены.

Рукой чужою
Отторгнуты богатства Саманидов,
Похищены с «Каноном» Ибн-Сино.
Старинной болью сердце пронзено...
Иль каждый вор тебя не разорял,
Иль каждый друг тебя не разделял?
И только лик, подобный желтоцвету,
Твоим сынам, от «золотого века»,
Остался в дар.
О, скольких прозорливых правителей твоих
беда скосила
О, скольких песнопевцев чудотворных тоска
свела в могилу!
Почва вся,
Твоя земля — из праха минаретов!
И жертвоприношения твои — обугленные свитки
и тетради...

Святая Бухара, о колыбель мужей неповторимых,
Приют стихов,

Гонимых ветром и хранимых
В умах, в сердцах...
Священная печаль, живая память о твоем Донише
И о мученьях бедного Шохина,
Больного тяжко и неизлечимо.
...Воспоминанье очи увлажнило,
Но вновь и вновь я вижу обновленье
Твоих руин,
Из тысячи обломков ты восстаешь.
Свободна ты, свободна!
На тысячах ржавеющих цепей стоишь века.
Под каждою стеною — турецкая подкова
Иль мошна арабская.
Все это огромную сокровищницу полнит.
Истории, хоть раньше унижало Историю...
Родная Бухара!
О колыбель живая, днем и ночью
К тебе мой взгляд с любовью устремлен,
К тебе течет с вершин, как Зеравшон,
И я, твой сын, хочу, чтоб, орошая
Твои пласты, тебя касался он,
Чтоб не рассеялась твоя земля святая.

«БЕЗБОЖНЫЙ ГОРОД»

(На раскопках Согда)

Видно, так повелела судьба:
Дырами вымерших очагов,
Как пустотой ослепленных глазниц,
Город в небо глядит.

И статуэтки богов и божков
В ямах накрыты пластами веков,
Прахом забиты рты...
И если дьявол на свете есть,
Веселья вдоволь ему:
Здесь ликов золото — в черной земле,
Пророков лица — в пепле, в золе,
Шрамы — на главах богов.

И если некогда был Ормузд [1],
На этой земле, где храм его пуст,
Над прахом бы он зарыдал.
Как плакальщица, на щебне руин,
За вдов
И плакальщиц плакал один,
За черные камни стен,
Как матери, замерших,
онемев,
Над могилами милых детей.

В жестких объятьях земных горбов
Сраженные предки лежат.
Над головою — камни дворцов,
Вражьи стрелы — в груди...
Сгинув бесславно,
Они унесли
Славный век золотой.

[1] *Ормузд* — древнеиранский бог добра.

Молит каждый могильный провал
У кочующих облаков
Пересохшим горлом —
Воды...
Слава мира схоронена здесь,
Кровь юных и старых сердец.

Провалом проглочены
Жертвы, бойцы,
Согдийцы, кушаны...
Отвергнув Коран,
В неведомых битвах погибли они
За веру и древних богов...

Ты, город злосчастный,
Ты, колыбель
Растерзанной жизни,
Ты, с богом в борьбе,
Не устрашенный огнем и мечом!
Чего же страшиться тебе?
Для славы имени твоего
Уже достаточно одного,
Что в почве — под каждою падью твоей —
Величья свидетельства —
Луки, мечи,
Палицы, шлемы, щиты.

СТИХ АДЖАМА

С молоком облаков на губах,
Весь в весеннем хмельном аромате,
С птичьей песней шальной,
Сохранивший гранитных объятий тепло,
Под твое припадаю крыло,
стих Аджама.

Осени мои думы,
Осени мои долгие ночи.
И волнение первых побед,
Дай упорство и стойкость.

В путь тревоги,
любви и мечты,
В путь надежды — с надеждой.
В сто красок разукрасив,
в сто нарядов
Перерядив,
надежду возвращаю
С душою,
так согретою надеждой.

Я в спутники прошусь,
В бессменные гонцы
И в испытанья на твоих дорогах.

Будет свадебный пир, будут нежные песни,
Осени их волненьем любви.
Гимны павшим за жизнь,
ритмы гнева и мести
Осени!

Латинский стих Востока,
стих Аджама,
Струна встревоженная, будущего вестник,
Прими мое дыхание и сердце,
И преданность бессонную прими.

Иду путем твоим и не твоим —
Истоптаны все древние дороги.
Я полон песнею, но где такая сила,
Что подберет слова к ней
без тебя?

КОРНИ

Что делать?
Лукавы и вкрадчивы
Боги прогресса:
Привечают эстрадами,
Приручают докладами...
Грудь сводит от нехватки кислорода
А мнится,
                будто распирает радость.

За скобки повседневных дел и тягот
Мюнхаузеном сам себя тащу,
Витаю наяву,
Как в снах ребенок.

Но рядом с этим «я» самодовольным
Сосуществует странно просто «я».
То, что осталось у подножия эстрад.

Не для аплодисментов,
А для свиста;
То, что со мной, парящим,
                                                не в ладах,
Но радости пустыню орошает
Прохладными и светлыми ручьями.

Из влажной темноты
Не верят корни
Листве,
             затеявшей интрижку с ветром.

Они с подземными потоками дружны,
Верны упорством,—
Скалы прорастают;
Сильны доверием —
Планету оплели.

Вы, те, что с топорами,—
Усекли?

МОЛОДОСТЬ

Улыбка ясная на мужественных лицах,
Смятенье чистое и светлая тревога,
Высокого волненья красота,
Прозрачная пора —
Рассвет в горах весенних.

В тебя глядится милая, в тебя
От глаз моих не отрывая взора,
Внимает лишь тебе, твое дыханье ловит,
Прильнув так нежно к моему плечу.

О молодость!
Шумят твои дожди,
Скрывает сердце смутные надежды,
И взгляд, значенья полный и смятенья,
Тебя во мне, как друга,
узнает.

Везде кого-то ждут,
Буквально в каждом доме.
Из верности к тебе хранят улыбку
И величают вечною любовь.

О молодость!
Кто стонет по тебе,
Кто слушает твой голос в колыбели,
Кто к благородству твоему взывает,
Как будто уговаривает совесть.

Улыбка ясная на мужественных лицах,
Смятенье чистое и светлая тревога,
Беглянка — молодость! Останься навсегда,
Откройся соискателям упорным.

Наперекор законам бытия,
Останься, молодость!
Буди моих друзей
Хмельным лобзаньем, солнечным лучом!

Пускай твой хохот улицы заполнит,
Все запертые двери посрывает,
Сердца согреет, души распахнет,
Зальет всю землю, устремится к звездам...
Рассвет весенний, молодость Вселенной!

ПОЖАР ПОБЕРЕЖЬЯ

Из пепла завтра мы родимся....
Пабло Неруда

В беде земля поэзии, в огне,
песчинка каждая горит зерном пшеничным,
как колос в пламени строка любая;
провал голодных глаз — шакалья радость —
скирду недомолоченную жгут,
хлеб недовеянный, нескошенную ниву.
Кружатся тонкою и ломкою листвою
слова высокие, слова простые,
простых вещей бесхитростные души,
что обрели высокое бессмертье
в испытанных надеждою сердцах.
С визгливым и трусливым упоеньем
рвет плоть страны подуськанная свора
беспамятных, безмозглых и безродных,
жгут хлеб, взрывают дом, казнят гитару.
Шакалы в орденах и эполетах,
шакалы с автоматами, шакалы
морские и воздушные, убийцы
нз-за угла, взахлеб детоубийцы,
специалисты рьяные по пыткам
своих же матерей: чванливые шакалы,
разбухшие от власти и от крови,—
каким болотом вытошнило вас?
Пробьются вновь хлеба на пепелище,
стропила заломив, дома восстанут,
возьмутся вторить новые гитары
словам заветным Пабло и Виктора...
А вас леса и горы отрыгнут,
и океан вас выплюнет с презреньем.

СТАРЫЙ ПОЭТ

Раздумья о людских путях и судьбах
Прорезались ущельями морщин,
Царапинами в камне, на котором
Добычу рвет и точит клюв орел.

Не каменно — изваяно из камня.
Морщины-марши и морщины-гимны
С морщинами пророчеств и проклятий
Пересекаются, чтоб перейти в морщины
Труда и гнева, жажды и мечты.

Не губы, а огнем спаленный кратер
Клокочущего яростью вулкана,
Огнем, который дал родному камню
Победу над винтовкой скорострельной,
Над царской пушкою, басмаческою саблей.

Открыл глаза он в каменной кибитке,
Взлелеянный на камне хлеб вкусил,
Испил воды, пробившейся из камня,
За камень взялся в ярости святой
И песни пел на каменной трибуне.

Нагроможденье каменной тревоги,
Край гор, скупой, неистовый и щедрый
Он песнею и камнем отстоял;
И новорожденный Таджикистан
Воспел на весь Восток, на всю планету.

Когда в задумчивости трогает седины
Морщинистой рукою камнетеса —
Что тучи наплывают на вершину.
Но загляни в глаза — сверкает солнце,
Всегда в глазах пылает солнце Революции,
Всегда за камни нищие берутся.

КАМЕННЫЙ УЗЕЛ

Глухи к стенаньям камни
водопада.
Поет вода, как ливень слез светла,
Спеша обнять холодные громады,
Тщась тронуть лаской темные
тела.

Разбит поток, дробятся пальцы
влаги,
Вскипает кровью белая волна —
Надежней, чем кулак костистый,
влаги,
Здесь сжат кулак глухого валуна...

Но вижу я не струи водопада,
А водопады кос в твоих руках.
Камнями сердце стискивать не надо —
Оно вскипит, как воды на камнях.

Ты помнишь, как рука тянулась в
волны
Твоих волос и нарушала гладь,
И двигалась, и пальцами невольно
Не уставала пряди разделять.

Твой светлый образ — воды водопада,
Твое упрямство — камень на
волнах.
Твоя душа смирится ли преградой?
Да нет, вскипит волной на
валунах.

РОДИНА

Здесь паутинка так легка,
Что кажется — бесплотна даже.
Она из детства, из клубка,
Из пасмы материнской пряжи.

О родина! Я здесь возник,
Припав к земле твоей, взрослею,
Стал стариком — я твой старик,
Травою стану — лишь твоею.

Я под твоей луной хожу,
Твоих богов молю о счастье,
Твоей шерстинкою запястье
От хвори я перевяжу.

Соедини меня с землей —
Вот родина моя, и ныне
Суглинок здешний тронь иглой —
Кровь из моей ладони хлынет.

И отпадающий, бессильный,
Последний устремляю взгляд
К твоим холмам, где в тьме
Могильной
Твои погибшие лежат.

СОДЕРЖАНИЕ

Ночь устода. Перевел *А. Киямов*	5
Конь. Перевел *А. Киямов*	8
У бивая себя, убивая... Перевел *А. Киямов*	11
«Когда вздымает файзабадский ветер...» Перевел *А. Киямов*	16
Стала мама вязом на холме. Перевел *А. Киямов*	21
Родной язык. Перевел *А. Киямов*	26
«Чтоб хоть в памяти о нем...» Перевел *А. Киямов*	33
Муравейник. Перевел *А. Киямов*	38
Сын крестьянский. Перевел *М. Синельников*	41
Детские слезы. Перевел *Э. Портнягин*	43
Горы. Перевел *М. Синельников*	44
Точка опоры. Перевел *М. Синельников*	46
Дороги. Перевел *М. Синельников*	48
Осень. Перевел *С. Куняев*	50
Автопортрет. Перевел *М. Синельников*	52
«Ночь, как сумрак распущенных кос...» Перевел *М. Синельников*	54
Выкуп за материнское молоко. Перевел *А. Киямоз*	55
Я этот мир поцеловал. Перевел *А. Киямов*	60
«С помолов жизни слой пыльцы...» Перевел *А. Киямов*	61
Ты щедрая. Перевел *А. Киямов*	64
«Дождик, лей, дождик, лей...» Перевел *М. Синельников*	66
Под водопадом. Перевел *М. Синельников*	68
Лунный свет. Перевел *М. Синельников*	69
Пляска. Перевел *М. Синельников*	71
Таджикистан. Перевел *М. Синельников*	73
У памятника Айни Перевел *М. Синельников*	76
Бухара. Перевел *М. Синельников*	80
«Безбожный город». Перевел *М. Синельников*	83
Стих Аджама. Перевел *Л. Пащенко*	85
Корни. Перевел *Л. Пащенко*	87
Молодость. Перевел *Л. Пащенко*	89
Пожар побережья. Перевел *Л. Пащенко*	91
Старый поэт. Перевел *Л. Пащенко*	92
Каменный узел. Перевел *А. Волос*	93
Родина. Перевел *А. Волос*	94